

Рим Отрывок

Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскroивши черные, как уголь, тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска. Таковы очи у альбанки Аннунциаты. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола волос тяжеловесной косою вознеслась в два кольца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее. Как ни поворотит она сияющий снег своего лица — образ ее весь отпечатлелся в сердце. Станет ли профилем — благородством дивным дышит профиль, и мечется красота линий, каких не создавала кисть. Обратится ли затылком с подобранными кверху чудесными волосами, показав сверкающую позади шею и красоту не виданных землею плеч, — и там она чудо! Но чудеснее всего, когда глянет она прямо очами в очи, водрузивши хлад и замиранье в сердце. Полный голос ее звенит, как медь. Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней венец созданья, от плеч до античной дышащей ноги и до последнего пальчика на ее ноге. Куда ни пойдет она — уже несет с собой картину: спешит ли ввечеру к фонтану с кованой медной вазой на голове, — вся проникается чудным согласием обнимающая ее окрестность: легче уходят вдаль чудесные линии альбанских гор, синее глубина римского неба, прямой летит вверх кипарис, и красавица южных дерев, римская пинна, тонее и чище рисуется на небе своею зонтикообразною, почти плывущею на воздухе верхушкою. И всё: и самый фонтан, где уже столпились в кучу на мраморных ступенях, одна выше другой, альбанские горожанки, переговаривающиеся сильными серебряными голосами, пока поочередно бьет вода звонкой алмазной дугой в подставляемые медные чаны, и самый фонтан, и самая толпа — все, кажется, для нее, чтобы ярче выказать торжествующую красоту, чтобы видно было, как она предводит всем, подобно как царица предводит за собою придворный чин свой. В праздничный ли день, когда темная древесная галерея, ведущая из Альбано в Кастель-Гандольфо, вся полна празднично убранного народа, когда мелькают под сумрачными ее сводами щеголи миненти в бархатном убранстве, с яркими поясами и золотистым цветком на пуховой шляпе, бредут или несутся вскачь ослы с полузажмуренными глазами, живописно неся на себе стройных и сильных альбанских и фраскатанских женщин, далеко блистающих белыми головными уборами, или таща вовсе не живописно, с трудом и спотыкаясь, длинного неподвижного англичанина в гороховом непроницаемом макинтоше, скорчившего в острый угол свои ноги, чтобы не зацепить ими земли, или неся художника в блузе, с деревянным ящиком на

ремне и ловкой вандиковской бородкой, а тень и солнце бегут попеременно по всей группе, — и тогда, и в оный праздничный день при ней далеко лучше, чем без нее. Глубина галереи выдает ее из сумрачной темноты своей всю сверкающую, всю в блеске. Пурпурное сукно альбанского ее наряда вспыхивает, как ищерь, тронутое солнцем. Чудный праздник летит из лица ее навстречу всем. И, повстречав ее, останавливаются как вкопанные и щеголь миненте с цветком за шляпой, издавши невольное восклицание; и англичанин в гороховом макинтоше, показав вопросительный знак на неподвижном лице своем; и художник с вандиковской бородкой, долее всех остановившийся на одном месте, подумывая: «То-то была бы чудная модель для Дианы, гордой Юноны, соблазнительных Граций и всех женщин, какие только передавались на полотно!» — и дерзновенно думая в то же время: то-то был бы рай, если б такое диво украсило навсегда смиренную его мастерскую!

Но кто же тот, чей взгляд неотразимее вперился за ее следом? Кто сторожит ее речи, движенья и движенья мыслей на ее лице? Двадцатипятилетний юноша, римский князь, потомок фамилии, составлявшей когда-то честь, гордость и бесславие средних веков, ныне пустынно догорающей в великолепном дворце, исписанном фресками Гверчина и Караччей, с потускневшей картинной галереей, с полинявшими штофами, лазурными столами и поседевшим как лунь *maestro di casa*. Его-то увидали недавно римские улицы, несущего свои черные очи, метатели огней из-за перекинутого через плечо плаща, нос, очеркнутый античной линией, слоновую белизну лба и брошенный на него летучий шелковый локон. Он появился в Риме после пятнадцати лет отсутствия, появился гордым юношею вместо еще недавно бывшего дитяти.

Но читателю нужно знать непременно, как все это свершилось, и потому пробежим наскоро историю его жизни, еще молодой, но уже обильной многими сильными впечатлениями. Первоначальное детство его протекло в Риме; воспитывался он так, как в обычае у доживающих век свой римских вельмож. Учитель, гувернер, дядька и все что угодно, был у него аббат, строгий классик, почитатель писем Пиетра Бембо, сочинений Джиованни делла Casa и пяти-шести песней Данта, читавший их не иначе как с сильными восклицаниями: «Dio, che cosa divina!» — и потом через две строки: «Diavolo, che divina cosa!» — в чем состояла почти вся художественная оценка и критика, обращавший остальной разговор на броколи и артишоки, любимый свой предмет, знавший очень хорошо, в какое время лучше телятина, с какого месяца нужно начинать есть козленка, любивший обо всем этом поболтать на улице, встретясь с приятелем, другим аббатом, обтягивавший весьма ловко полные икры свои в шелковые черные чулки, прежде запихнувши под них

шерстяные, чистивший себя регулярно один раз в месяц лекарством *olio di ricino* в чашке кофию и полневший с каждым днем и часом, как полнеют все аббаты. Натурально, что молодой князь узнал не много под таким началом. Узнал он только, что латинский язык есть отец итальянского, что монсиньоры бывают трех родов — одни в черных чулках, другие в лиловых, а третьи такие, которые бывают почти то же, что кардиналы; узнал несколько писем Пиетра Бембо к тогдашним кардиналам, большею частью поздравительных; узнал хорошо улицу Корсо, по которой ходил прогуливаться с аббатом, да виллу Боргезе, да две-три лавки, перед которыми останавливался аббат для закупки бумаги, перьев и нюхательного табаку, да аптеку, где брал он свое *olio di ricino*. В этом заключался весь горизонт сведений воспитанника. О других землях и государствах аббат намекнул в каких-то неясных и нетвердых чертах: что есть земля Франция, богатая земля, что англичане — хорошие купцы и любят ездить, что немцы — пьяницы, и что на севере есть варварская земля Московия, где бывают такие жестокие морозы, от которых может лопнуть мозг человеческий. Далее сих сведений воспитанник вероятно бы не узнал, достигнув до двадцатипятилетнего своего возраста, если б старому князю не пришла вдруг в голову идея переменить старую методу воспитания и дать сыну образование европейское, что можно было отчасти приписать влиянию какой-то французской дамы, на которую он с недавнего времени стал наводить беспрестанно лорнет на всех театрах и гуляньях, засовывая поминутно свой подбородок в огромный белый жабо и поправляя черный локон на парике. Молодой князь был отправлен в Лукку, в университет. Там, во время шестилетнего его пребывания, развернулась его живая итальянская природа, дремавшая под скучным надзором аббата. В юноше оказалась душа, жадная наслаждений избранных, и наблюдательный ум. Итальянский университет, где наука влачилась, скрытая в черствых схоластических образах, не удовлетворял новой молодежи, которая уже слышала урывками о ней живые намеки, перелетавшие через Альпы. Французское влияние становилось заметно в Верхней Италии: оно заносилось туда вместе с модами, виньетками, модевилями и напряженными произведениями необузданной французской музыки, чудовищной, горячей, но местами не без признаков таланта. Сильное политическое движение в журналах с июльской революции отозвалось и здесь. Мечтали о возвращении погибшей итальянской славы, с негодованием глядели на ненавистный белый мундир австрийского солдата. Но итальянская природа, любительница покойных наслаждений, не вспыхнула восстанием, над которым не позадумался бы француз; все окончилось только непреодолимым желанием побывать в заальпийской, в настоящей Европе. Вечное ее движение и блеск заманчиво мелькали вдали. Там была новость, противоположность ветхости итальянской, там начиналось XIX столетие,

европейская жизнь. Сильно порывалась туда душа молодого князя, чая приключений и света, и всякий раз тяжелое чувство грусти его осеняло, когда он видел совершенную к тому невозможность: ему был известен непреклонный деспотизм старого князя, с которым было не под силу ладить, — как вдруг получил он от него письмо, в котором предписано было ему ехать в Париж, окончить ученье в тамошнем университете и дожидаться в Лукке только приезда дяди, с тем чтобы отправиться с ним вместе. Молодой князь прыгнул от радости, перецеловал всех своих друзей, угостил всех в загородной остерии и через две недели был уже в дороге, с сердцем, готовым встретить радостным биеньем всякий предмет. Когда переехали Симплон, приятная мысль пробежала в голове его: он на другой стороне, он в Европе! Дикое безобразие швейцарских гор, громоздившихся без перспективы, без легких далей, несколько ужаснуло его взор, приученный к высоко-спокойной нежащей красоте итальянской природы. Но он просветлел вдруг при виде европейских городов, великолепных светлых гостиниц, удобств, расставленных всякому путешественнику, располагающемуся как дома. Щеголеватая чистота, блеск — все было ему ново. В немецких городах несколько поразил его странный склад тела немцев, лишенный стройного согласия красоты, чувство которой зарождено уже в груди итальянца; немецкий язык так же поразил неприятно его музыкальное ухо. Но перед ним была уже французская граница, сердце его дрогнуло. Порхающие звуки европейского модного языка, лаская, облобызали слух его. Он с тайным удовольствием ловил скользящий шелест их, который уже в Италии казался ему чем-то возвышенным, очищенным от всех судорожных движений, какими сопровождаются сильные языки полуденных народов, не умеющих держать себя в границах. Еще большее впечатление произвел на него особый род женщин — легких, порхающих. Его поразило это улетучившееся существо с едва вызначавшимися легкими формами, с маленькой ножкой, с тоненьким воздушным станом, с ответным огнем во взорах и легкими, почти невыговаривающимися речами. Он ждал с нетерпением Парижа, населял его башнями, дворцами, составил себе по-своему образ его и с сердечным трепетом увидел наконец близкие признаки столицы: на клеенные афиши, исполинские буквы, умножавшиеся дилижансы, омнибусы... наконец понеслись дома предместья. И вот он в Париже, бессвязно обнятый его чудовищною наружностью, пораженный движением, блеском улиц, беспорядком крыш, гущиной труб, безархитектурными сплоченными массами домов, облепленных тесной лоскутностью магазинов, безобразьем нагих, неприслоненных боковых стен, бесчисленной смешанной толпой золотых букв, которые лезли на стены, на окна, на крыши и даже на трубы, светлой прозрачностью нижних этажей, состоявших только из одних зеркальных

стекол. Вот он, Париж, это вечное волнующееся жерло, водомет, мечущий искры новостей, просвещения, мод, изысканного вкуса и мелких, но сильных законов, от которых не властны оторваться и сами порицатели их, великая выставка всего, что производит мастерство, художество и всякий талант, скрытый в невидных углах Европы, трепет и любимая мечта двадцатилетнего человека, размен и ярмарка Европы! Как ошеломленный, не в силах собрать себя, пошел он по улицам, пересыпавшимся всяким народом, исчерченным путями движущихся омнибусов, поражаясь то видом кафе, блиставшего неслыханным царским убранством, то знаменитыми крытыми переходами, где оглушал его глухой шум нескольких тысяч шумевших шагов сплошно двигавшейся толпы, которая вся почти состояла из молодых людей, и где ослеплял его трепещущий блеск магазинов, озаряемых светом, падавшим сквозь стеклянный потолок в галерею; то останавливаясь перед афишами, которые миллионами пестрели и толпились в глаза, крича о двадцати четырех ежедневных представлениях и бесчисленном множестве всяких музыкальных концертов; то растерявшись, наконец, совсем, когда вся эта волшебная куча вспыхнула ввечеру при волшебном освещении газа — все дома вдруг стали прозрачными, сильно засиявши снизу; окна и стекла в магазинах, казалось, исчезли, пропали вовсе, и все, что лежало внутри их, осталось прямо среди улицы нехранимо, блистая и отражаясь в углубление зеркалами. «Ma quest'e una cosa divina!» — повторял живой итальянец.

И жизнь его потекла живо, как течет жизнь многих парижан и толпы молодых иностранцев, наезжающих в Париж. В девять часов утра, схватившись с постели, он уже был в великолепном кафе с модными фресками за стеклом, с потолком, облитым золотом, с листами длинных журналов и газет, с благородным приспешником, проходившим мимо посетителей, держа великолепный серебряный кофейник в руке. Там пил он с сибаритским наслаждением свой жирный кофий из громадной чашки, нежась на эластическом, упругом диване и вспоминая о низеньких, темных итальянских кафе с неопрятным боттегой, несущим невымытые стеклянные стаканы. Потом принимался он за чтение колоссальных журнальных листов и вспомнил о чахоточных журналишках Италии, о каком-нибудь «Diario di Roma», «il Pirato» и тому подобных, где помещались невинные политические известия и анекдоты чуть не о Термопилах и персидском царе Дарий. Тут, напротив, везде видно было кипевшее перо. Вопросы на вопросы, возраженья на возраженья — казалось, всякий из всех сил топорщился: тот грозил близкой переменой вещей и предвещал разрушение государству. Всякое чуть заметное движение и действие камер и министерства разрасталось в движение огромного размаха между упорными партиями и почти отчаянным криком

слышалось в журналах. Даже страх чувствовал итальянец, читая их, думая, что завтра же вспыхнет революция, как будто в чаду выходил из литературного кабинета, и только один Париж с своими улицами мог выветрить в одну минуту из головы весь этот груз. Его порхающий по всему блеск и пестрое движение, после этого тяжелого чтения, казались чем-то похожим на легкие цветки, взбежавшие по оврагу пропасти. В один миг он переселялся весь на улицу и сделался, подобно всем, зевакою во всех отношениях. Он зевал пред светлыми, легкими продавицами, только что вступившими в свою весну, которыми были наполнены все парижские магазины, как будто бы суровая наружность мужчины была неприлична и мелькала бы темным пятном из-за цельных стекол. Он глядел, как заманчиво щегольские тонкие руки, вымытые всякими мылами, блистая, заворачивали бумажки конфет, меж тем как глаза светло и пристально вперялись на проходящих, как рисовалась в другом месте светловолосая головка в картинном склоне, опустивши длинные ресницы в страницы модного романа, не видя, что около нее собралась уже куча молодежи, рассматривающая и ее легкую снежную шейку, и всякий волосок на голове ее, подслушивающая самое колебание груди, произведенное чтением. Он зевал и перед книжной лавкой, где, как пауки, темнели на слоновой бумаге черные виньетки, набросанные размашисто, сгоряча, так что иногда и разобрать нельзя было, что на них такое, и глядели иероглифами странные буквы. Он зевал и перед машиной, которая одна занимала весь магазин и ходила за зеркальным стеклом, катая огромный вал, растирающий шоколад. Он зевал перед лавками, где останавливаются по целым часам парижские крокодилы, засунув руки в карманы и разинув рот, где краснел в зелени огромный морской рак, воздымалась набитая трюфелями индейка с лаконической надписью: «300 fr.» и мелькали золотистым пером и хвостами желтые и красные рыбы в стеклянных вазах. Он зевал и на широких бульварах, царственно проходящих поперек весь тесный Париж, где среди города стояли деревья в рост шестиэтажных домов, где на асфальтовые тротуары валила наездная толпа и куча доморощенных парижских львов и тигров, не всегда верно изображаемых в повестях. И, назевавшись вдоволь и досыта, взбирался он к ресторану, где уже давно сияли газом зеркальные стены, отражая в себе бесчисленные толпы дам и мужчин, шумевших речами за маленькими столиками, разбросанными по залу. После обеда уже он спешил в театр, недоумевая только, который выбрать: на каждом из них своя знаменитость, на каждом свой автор, свой актер. Везде новость. Там блещет водевиль, живой, ветреный, как сам француз, новый всякий день, создавшийся весь в три минуты досуга, смешивший весь от начала до конца благодаря неистощимым капризам веселости актера; там горячая драма. И он невольно сравнил сухую, тощую

драматическую сцену Италии, где повторялись один и тот же старик Гольдони, знаемый всеми наизусть, или же новые комедийки, невинные и наивные до того, что ребенок бы соскучился над ними; он сравнил их тощую группу с этим живым, торопливым драматическим наводнением, где всё ковалось, пока было горячо, где всякий боялся только, чтобы не простыла его новость. Насмеявшись досыта, наволновавшись, наглядевшись, утомленный, подавленный впечатлениями, возвращался он домой и бросался в постель, которая, как известно, одна только нужна французу в его комнате; кабинетом, обедом и вечерним освещением он пользуется в публичных местах. Но князь, однако же, не позабыл с этим разнообразным зеваньем соединить занятий ума, которых требовала нетерпеливо душа его. Он принялся слушать всех знаменитых профессоров. Живая речь, часто восторженная, новые точки и стороны, подмеченные речивым профессором, были неожиданны для молодого итальянца. Он чувствовал, как стала спадать с глаз его пелена, как в другом, ярком виде восставали перед ним прежде не замеченные предметы и самый приобретенный им хлам кое-каких знаний, которые обыкновенно погибают у большей части людей без всяких применений, пробуждался и, оглянутый другим глазом, утверждался навсегда в его памяти. Он не пропустил также услышать ни одного знаменитого проповедника, публициста, оратора камерных прений и всего, чем шумно гремит в Европе Париж. Несмотря на то, что не всегда доставало ему средств, что старый князь присылал ему содержание как студенту, а не как князю, он успел, однако же, найти случай побывать везде, найти доступ ко всем знаменитостям, о которых трубят, повторяя друг друга, европейские листки, даже увидал в лицо тех модных писателей, которых странными созданиями была поражена, наряду с другими, его пылкая молодая душа и в которых всем мнилось слышать еще небранные дотоле струны, неуловимые доселе изгибы страстей. Словом, жизнь итальянца приняла широкий, многосторонний образ, обнялась всем громадным блеском европейской деятельности. Разом, в один и тот же день, беззаботное зеванье и тревожное пробуждение, легкая работа глаз и напряженная ума, водевиль на театре, проповедник в церкви, политический вихрь журналов и камер, рукоплесканье в аудиториях, потрясающий гром консерваторного оркестра, воздушное блистанье танцующей сцены, громотня уличной жизни — какая исполинская жизнь для двадцатипятилетнего юноши! Нет лучшего места, как Париж; ни за что не променял бы он такой жизни. Как весело и любо жить в самом сердце Европы, где, идя, поднимаешься выше, чувствуешь, что член великого всемирного общества! В голове его даже вертелась мысль отказаться вовсе от Италии и основаться навсегда в Париже. Италия казалась ему теперь каким-то темным заплеснелым углом Европы, где заглохла жизнь и всякое движение.

Так пронеслись четыре пламенные года его жизни, — четыре года, слишком значительные для юноши, и к концу их уже многое показалось не в том виде, как было прежде. Во многом он разочаровался. Тот же Париж, вечно влекущий к себе иностранцев, вечная страсть парижан, уже казался ему много, много не тем, чем был прежде. Он видел, как вся эта многосторонность и деятельность его жизни исчезала без выводов и плодоносных душевных осадков. В движении вечного его кипенья и деятельности виделась теперь ему странная недеятельность, страшное царство слов вместо дел. Он видел, как всякий француз, казалось, только работал в одной разгоряченной голове; как это журнальное чтение огромных листов поглощало весь день и не оставляло часа для жизни практической; как всякий француз воспитывался этим странным вихрем книжной, типографски движущейся политики и, еще чуждый сословия, к которому принадлежал, еще не узнав на деле всех прав и отношений своих, уже приставал к той или другой партии, горячо и жарко принимая к сердцу все интересы, становясь свирепо против своих супротивников, еще не зная в глаза ни интересов своих, ни супротивников... и слово политика опротивело наконец сильно итальянцу.

В движение торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие и стремление к новости. Один силился пред другим во что бы то ни стало взять верх хотя бы на одну минуту. Купец весь капитал свой употреблял на одну только уборку магазина, чтобы блеском и великолепием его заманить к себе толпу. Книжная литература прибегала к картинкам и типографической роскоши, чтоб ими привлечь к себе охлаждающееся внимание. Странностью неслыханных страстей, уродливостью исключений из человеческой природы силились повести и романы овладеть читателем. Все, казалось, нагло навязывалось и напрашивалось само, без зазыва, как непотребная женщина, ловящая человека ночью на улице; все, одно перед другим, вытягивало повыше свою руку, как обступившая толпа надоедливых нищих. В самой науке, в ее одушевленных лекциях, которых достоинство не мог не признать он, теперь стало ему заметно везде желание выказаться, хвастнуть, выставить себя; везде блестящие эпизоды, и нет торжественного, величавого течения всего целого. Везде усилия поднять доселе не замеченные факты и дать им огромное влияние иногда в ущерб гармонии целого, с тем только, чтобы оставить за собой честь открытия; наконец, везде почти дерзкая уверенность и нигде смиренного сознания собственного неведения, — и он привел себе на память стих, которым итальянец Альфиери, в едком расположении своего духа, попрекнул французов:

Tutto fanno, nulla sanno,
Tutto sanno, nulla fanno;

Gira volta son Francesi,
Piu gli pesi, men ti danno.

Тоскливое расположение духа им овладело. Напрасно старался он развлекать себя, старался сойтись с людьми, которых уважал, но не сошлась итальянская природа с французским элементом. Дружба завязывалась быстро, но уже в один день француз выказывал себя всего до последней черты: на другой день нечего было и узнавать в нем, далее известной глубины уже нельзя было погрузить вопроса в его душу, не вонзалось далее острие мысли; а чувства итальянца были слишком сильны, чтобы встретить себе полный ответ в легкой природе. И нашел он какую-то странную пустоту даже в сердцах тех, которым не мог отказать в уважение. И увидел он наконец, что, при всех своих блестящих чертах, при благородных порывах, при рыцарских вспышках, вся нация была что-то бледное, несовершенное, легкий водевиль, ею же порожденный. Не почил на ней величественно-степенная идея. Везде намеки на мысли, и нет самых мыслей; везде полустрасти, и нет страстей, все не окончено, все наметано, набросано с быстрой руки; вся нация — блестящая виньетка, а не картина великого мастера.

Нашедшая ли внезапно на него хандра дала ему возможность увидеть все в таком виде или внутреннее верное и свежее чувство итальянца было тому причиною, — то или другое, только Париж со всем своим блеском и шумом скоро сделался для него тягостной пустыней, и он невольно выбирал глухие, отдаленные концы его. Только в одну еще итальянскую оперу заходил он, там только как будто отдыхала душа его, и звуки родного языка теперь вырастали пред ним во всем могуществе и полноте. И стала представляться ему чаще забытая им Италия, вдали, в каком-то манящем свете; с каждым днем зазывы ее становились слышнее, и он решился наконец писать к отцу, чтобы позволил ему возвратиться в Рим, что в Париже оставаться более он не видит для себя нужды. Два месяца не получал он никакого ответа, ни даже обычных векселей, которые давно следовало ему получить. Сначала ожидал он терпеливо, зная капризный характер своего отца, наконец начало овладевать им беспокойство. Несколько раз на неделю навещался к своему банкиру и всегда получал один и тот же ответ, что из Рима нет никаких известий. Отчаяние готово было вспыхнуть в душе его. Средства содержания уже давно у него все прекратились, уже давно сделал он у банкира заем, но и эти деньги давно вышли, давно уже он обедал, завтракал и жил кое-как в долг; косо и неприятно начинали посматривать на него — и хоть бы от кого-нибудь из друзей какое-нибудь известие. Тут-то он сильно почувствовал свое одиночество. В беспокойном ожидании бродил он в этом надоевшем насмерть

городе. Летом он был для него еще невыносимее: все наездные толпы разлетелись по минеральным водам, по европейским гостиницам и дорогам. Призрак пустоты виделся на всем. Домы и улицы Парижа были несносны, сады его томились сокрушительно между домов, палимых солнцем. Как убитый останавливался он над Сеной, на грузном, тяжелом мосту, на ее душной набережной, напрасно стараясь чем-нибудь позабыться, на что-нибудь заглядеться; тоска необъятная жрала его, и безымянный червь точил его сердце. Наконец судьба над ним умилосердилась — и в один день банкир вручил ему письмо. Оно было от дяди, который извещал его, что старый князь уже не существует, что он может приехать распорядиться наследством, которое требует его личного присутствия, потому что расстроено сильно. В письме был тощий билет, едва доставший на дорогу и на расплату четвертой доли долгов. Молодой князь не хотел медлить минуты, уговорил кое-как банкира отсрочить долг и взял место в курьерской карете. Казалось, страшная тягость свалилась с души его, когда скрылся из вида Париж и дохнуло на него свежим воздухом полей. В двое суток он уже был в Марселе, не хотел отдохнуть часу и того же вечера пересел на пароход. Средиземное море показалось ему родным: оно омывало берега его отчизны, и он посвежел уже, только глядя на одни бесконечные его волны. Трудно было изъяснить чувство, его обнявшее при виде первого итальянского города, — это была великолепная Генуя. В двойной красоте вознеслись над ним ее пестрые колокольни, полосатые церкви из белого и черного мрамора и весь многобашенный амфитеатр ее, вдруг обнесший его со всех сторон, когда пароход пришел к пристани. Никогда не видал он Генуи. Эта играющая пестрота домов, церквей и дворцов на тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною, была единственна. Сошедши на берег, он очутился вдруг в этих темных, чудных, узеньких, мощенных плитами улицах, с одной узенькой вверху полоской голубого неба. Его поразила эта теснота между домами, высокими, огромными, отсутствие экипажного стуку, треугольные маленькие площадки и между ними, как тесные коридоры, изгибающиеся линии улиц, наполненных лавочками генуэзских серебряников и золотых мастеров. Живописные кружевные покрывала женщин, чуть волнуемые теплым широко; их твердые походки, звонкий говор в улицах; отворенные двери церквей, кафельный запах, несшийся оттуда, — все это дунуло на него чем-то далеким, минувшим. Он вспомнил, что уже много лет не был в церкви, потерявшей свое чистое, высокое значение в тех умных землях Европы, где он был. Тихо вошел он и стал в молчании на колени у великолепных мраморных колонн и долго молился, сам не зная за что: молился, что его приняла Италия, что снизошло на него желание молиться, что празднично было у него на душе, — и молитва эта, верно, была лучшая.

Словом, как прекрасную станцию унес он за собою Геную: в ней принял он первый поцелуй Италии. С таким же ясным чувством увидел он Ливорно, пустеющую Пизу, Флоренцию, слабо знаемую им прежде. Величаво глянул на него тяжелый граненый купол ее собора, темные дворцы царственной архитектуры и строгое величье небольшого городка. Потом понесся через Апеннины, сопровождаемый тем же светлым расположением духа, и когда наконец после шестидневной дороги показался в ясной дали, на чистом небе, чудесно круглившийся купол — о!.. сколько чувств тогда столпилось разом в его груди! Он не знал и не мог передать их; он оглядывал всякий холмик и отлогость. И вот уже наконец Ponte Molle, городские ворота, и вот обняла его красавица площадей Piazza del Popolo, глянул Monte Pincio с террасами, лестницами, статуями и людьми, прогуливающимися на верхушках. Боже! как забилося его сердце! Ветулин понесся по улице Корсо, где когда-то ходил он с аббатом, невинный, простодушный, знавший только, что латинский язык есть отец итальянского. Вот предстали пред ним опять все дома, которые он знал наизусть: Palazzo Ruspoli с своим огромным кафе, Piazza Colonna, Palazzo Sciarra, Palazzo Doria; наконец поворотил он в переулки, так бранимые иностранцами, не кипящие переулки, где изредка только попадалась лавка брадобрея с нарисованными лилиями над дверьми, да лавка шляпочника, высунувшего из дверей долгополую кардинальскую шляпу, да лавчонка плетеных стульев, делавшихся тут же на улице. Наконец карета остановилась перед величавым дворцом брамантовского стиля. Никого не было в нагих неубранных сенях. На лестнице встретил его дряхлый maestro di casa, потому что швейцар с своей булавой ушел, по обыкновению, в кафе, где проводил все время. Старик побежал отворять ставни и освещать мало-помалу старинные величественные залы. Грустное чувство овладело им, — чувство, понятное всякому приезжающему после нескольких лет отсутствия домой, когда все что ни было кажется еще старее, еще пустее и когда тягостно говорит всякий предмет, знаемый в детстве, — и чем веселее были с ним сопряженные случаи, тем сокрушительней грусть, насылаемая им на сердце. Он прошел длинный ряд зал, оглянул кабинет и спальню, где еще не так давно старый владетель дворца засыпал в кровати под балдахином с кистями и гербом и потом выходил в шлафроке и туфлях в кабинет выпить стакан ослиного молока, с намереньем пополнить; уборную, где он наряжался с утонченным стараньем старой кокетки и откуда отправлялся потом в коляске с своими лакеями на гулянье в виллу Боргезе, лорнировать постоянно какую-то англичанку, приезжавшую туда также прогуливаться. На столах и в ящиках видны были еще остатки румян, белил и всяких притираний, которыми молодил себя старик. Maestro di casa объявил, что уже за две недели до смерти он принял было твердое намерение жениться и сделал нарочно

консультацию с иностранными докторами, как поддержать *con onore i doveri di marito*; но что в один день, сделавши два или три визита кардиналам и какому-то приору, он возвратился усталый домой, сел в кресло и умер смертью праведника, хотя смерть его была бы еще блаженнее, если бы он, по словам *maestro di casa*, догадался послать за две минуты прежде за своим духовником *il padre Benvenuto*. Все это слушал молодой князь, рассеянный, не принадлежа мыслью ни к чему. Отдохнувши от дороги и от странных впечатлений, он занялся своими делами. Его поразили страшный беспорядок их. Все, от малого до большого, было в бестолковом, запутанном виде. Четыре бесконечные тяжбы за обвалившиеся дворцы и земли в Ферраре и Неаполе, совершенно опустошенные доходы за три года вперед, долги и нищенский недостаток среди великолепия — вот что представилось глазам его. Старый князь был непонятное соединение скупости и пышности. Он держал огромную прислугу, которая не получала никакой платы, ничего, кроме ливреи, и довольствовалась подаваниями иностранцев, приходивших смотреть галерею. При князе были егери, официанты, лакеи, которые ездили у него за коляской, лакеи, которые никуда не ездили и просиживали по целым дням в ближнем кафе или остерии, болтая всякий вздор. Он распустил тот же час всю эту сволочь, всех егерей и охотников, и оставил одного только старика *maestro di casa*; уничтожил почти вовсе конюшню, продав никогда не употреблявшихся лошадей; призвал адвокатов и распорядился с своими тяжбами, по крайней мере, так, что из четырех составил две, бросив остальные, как вовсе бесполезные; решился ограничить себя во всем и вести жизнь со всею строгостью экономии. Это было ему нетрудно сделать, потому что уже заблаговременно он привык ограничивать себя. Ему нетрудно было также отказаться от всякого сообщества с своим сословием, — которое, впрочем, все состояло из двух-трех доживавших фамилий, — общества, воспитанного кое-как отголосками французского образования, да богача банкира, собиравшего около себя круг иностранцев, да неприступных кардиналов, людей необщительных, черствых, уединенно проводивших время за карточной игрой в *tresette* (род дурачка) с своим камердинером или брадобреем. Словом, он уединился совершенно, принялся рассматривать Рим и сделался в этом отношении подобен иностранцу, который сначала бывает поражен мелочной, неблестящей его наружностью, испятнанными, темными домами, и с недоумением вопрошает, попадая из переулка в переулок: где же огромный древний Рим? — и потом уже узнает его, когда мало-помалу из тесных переулков начинает выдвигаться древний Рим, где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену, где порфировой потемневшей колонной, где фронтоном посреди вонючего рыбного рынка, где целым портиком перед нестаринной церковью, и, наконец, далеко, там, где

оканчивается вовсе живущий город, громадно воздымается он среди тысячелетних плющей, алоэ и открытых равнин необъятным Колизеем, триумфальными арками, останками необозримых цезарских дворцов, императорскими банями, храмами, гробницами, разнесенными по полям; и уже не видит иноземец нынешних тесных его улиц и переулков, весь объятый древним миром: в памяти его восстают колоссальные образы цезарей; криками и плесками древней толпы поражается ухо...

Но не так, как иностранец, преданный одному Титу Ливию и Тациту, бегущий мимо всего, к одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма скрыть весь новый город, — нет, он находил все равно прекрасным: мир древний, шевелившийся из-под темного архитрава, могучий средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век с толпящимся новым народонаселением. Ему нравилось это чудное их слияние в одно, эти признаки людной столицы и пустыни вместе: дворец, колонны, трава, дикие кусты, бегущие по стенам, трепещущий рынок среди темных, молчаливых, заслоенных снизу громад, живой крик рыбного продавца у портика, лимонадчик с воздушной, украшенной зеленью лавчонкой перед Пантеоном. Ему нравилась самая невзрачность улиц — темных, неприбранных, отсутствие желтых и светленьких красок на домах, идиллия среди города: отдыхавшее стадо козлов на уличной мостовой, крики ребятишек и какое-то невидимое присутствие на всем ясной, торжественной тишины, обнимавшей человека. Ему нравились эти непрерывные внезапности, неожиданности, поражающие в Риме. Как охотник, выходящий с утра на ловлю, как старинный рыцарь, искатель приключений, он отправлялся отыскивать всякий день новых и новых чудес и останавливался невольно, когда вдруг среди ничтожного переулка возносился пред ним дворец, дышавший строгим, сумрачным величием. Из темного травертина были сложены его тяжелые, несокрушимые стены, вершину венчал великолепно набранный колоссальный карниз, мраморными брусьями обложена была большая дверь, и окна глядели величаво, обремененные роскошным архитектурным убранством; или как вдруг неожиданно вместе с небольшой площадью выглядывал картинный фонтан, обрызгивавший себя самого и свои обезображенные мхом гранитные ступени; как темная грязная улица оканчивалась неожиданно играющей архитектурной декорацией Бернини, или летящим кверху обелиском, или церковью и монастырской стеною, вспыхивавшими блеском солнца на темно-лазурном небе, с черными, как уголь, кипарисами. И чем далее вглубь уходили улицы, тем чаще росли дворцы и архитектурные создания Браманта, Борромини, Сангалло, Деллапорта, Виньолы, Бонаротти, — и понял он

наконец ясно, что только здесь, только в Италии, слышно присутствие архитектуры и строгое ее величие как художества. Еще выше было духовное его наслаждение, когда он переносился во внутренность церквей и дворцов, где арки, плоские столпы и круглые колонны из всех возможных сортов мрамора, перемешанные с базальтовыми, лазурными карнизами, порфиром, золотом и античными камнями, сочетались согласно, покоренные обдуманной мысли, и выше их всех вознеслось бессмертное создание кисти. Они были высоко прекрасны, эти обдуманные убранства зал, полные царского величия и архитектурной роскоши, везде умевшей почтительно преклониться пред живописью в сей плодотворный век, когда художник бывал и архитектор, и живописец, и даже скульптор вместе. Могучие создания кисти, уже не повторяющейся ныне, возносились сумрачно пред ним на потемневших стенах, все еще непостижимые и недоступные для подражания. Входя и погружаясь более и более в созерцание их, он чувствовал, как развивался видимо его вкус, залог которого уже хранился в душе его. И как пред этой величественной, прекрасной роскошью показалась ему теперь низкою роскошь XIX столетия, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшения магазинов, выведшая на поле деятельности золотильщиков, мебельщиков, обойщиков, столяров и кучи мастеровых и лишившая мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анжелов, низведшая к ремеслу искусство. Как низкою показалась ему эта роскошь, поражающая только первый взгляд и озираемая потом равнодушно, перед этой величавой мыслью украсить стены вековым созданием кисти, перед этой прекрасной мыслью владельца дворца доставить себе вечный предмет наслаждения в часы отдыха от дел и от шумного жизненного дразга, уединившись там, в углу, на старинной софе, далеко от всех, вперя безмолвно взор и вместе со взором входя глубже душою в тайны кисти, зрея невидимо в красе душевных помыслов. Ибо высоко возвышает искусство человека, придавая благородство и красоту чудную движениям души. Как низки казались ему пред этой незыблемой плодотворной роскошью, окружившею человека предметами движущими и воспитывающими душу, нынешние мелочные убранства, ломаемые и выбрасываемые ежегодно беспокойною модою, странным, непостижимым порождением XIX века, пред которым безмолвно преклонились мудрецы, губительницей и разрушительницей всего, что колоссально, величественно, свято. При таких рассуждениях невольно приходило ему на мысль: не оттого ли сей равнодушный хлад, обнимающий нынешний век, торговый, низкий расчет, ранняя притупленность еще не успевших развиться и возникнуть чувств? Иконы вынесли из храма — и храм уже не храм; летучие мыши и злые духи обитают в нем.

Чем более он всматривался, тем более поражала его сия необыкновенная плодотворность века, и он невольно восклицал: «Когда и как успели они это наделать!» Эта великолепная сторона Рима как будто бы росла перед ним ежедневно. Галереи и галереи, и конца им нет... И там, и в той церкви, хранится какое-нибудь чудо кисти. И там, на дряхлеющей стене, еще дивит готовый исчезнуть фреск. И там, на вознесенных мраморах и столпах, набранных из древних языческих храмов, блещет неувядаемой кистью плафон. Все это было похоже на скрытые золотые рудники, покровенные обыкновенной землей, знакомые одному только рудокопу. Как полно было у него всякий раз на душе, когда возвращался он домой; как было различно это чувство, объятые спокойной торжественностью тишины, от тех тревожных впечатлений, которыми бессмысленно наполнялась душа его в Париже, когда он возвращался домой усталый, утомленный, редко будучи в силах поверить итог их.

Теперь ему казалось еще более согласною с этими внутренними сокровищами Рима его неприглядная, потемневшая, запачканная наружность, так бранимая иностранцами. Ему неприятно было бы выйти после всего этого в модную улицу с блестящими магазинами, щеголеватостью людей и экипажей: это было бы чем-то развлекающим, святотатственным. Ему лучше нравилась эта скромная тишина улиц, это особенное выражение римского населения, этот призрак восемнадцатого века, еще мелькавший по улице то в виде черного аббата с треугольной шляпой, черными чулками и башмаками, то в виде старинной пурпурной кардинальской кареты с позлащенными осями, колесами, карнизами и гербами, — все как-то согласовалось с важностью Рима: этот живой, неторопящийся народ, живописно и покойно расхаживающий по улицам, закинув полуплащ или набросив себе на плечо куртку, без тягостного выраженья в лицах, которое так поражало его на синих блузах и на всем народонаселенье Парижа. Тут самая нищета являлась в каком-то светлом виде, беззаботная, незнакомая с терзаньем и слезами, беспечно и живописно протягивавшая руку; картинные полки монахов, переходившие улицы в длинных белых или черных одеждах; нечистый рыжий капуцин, вдруг вспыхнувший на солнце светловерблюжьим цветом; наконец, это население художников, собравшихся со всех сторон света, которые бросили здесь узенькие лоскуточки одеяний европейских и явились в свободных живописных нарядах; их величественные осанистые бороды, снятые с портретов Леонардо да Винчи и Тициана, так непохожие на те уродливые узкие бородки, которые француз переделывает и стрижет себе по пяти раз в месяц. Тут художник почувствовал красоту длинных волнующихся волос и позволил им рассыпаться кудрями. Тут самый немец с кривизной ног

своих и бесперехватностью стана получил значительное выражение, разнеся по плечам золотистые свои локоны, драпируясь легкими складками греческой блузы или бархатным нарядом, известным под именем *cinquecento*, которое усвоили себе только одни художники в Риме. Следы строгого спокойствия и тихого труда отражались на их лицах. Самые разговоры и мнения, слышимые на улицах, в кафе, в остериях, были вовсе противоположны или непохожи на те, которые слышались ему в городах Европы. Тут не было толков о понизившихся фондах, о камерных преньях, об испанских делах: тут слышались речи об открытой недавно древней статуе, о достоинстве кистей великих мастеров, раздавались споры и разногласья о выставленном произведении нового художника, толки о народных праздниках и, наконец, частные разговоры, в которых раскрывался человек, вытесненные из Европы скучными общественными толками и политическими мнениями, изгнавшими сердечное выражение из лиц.

Часто оставлял он город для того, чтобы оглянуть его окрестности, и тогда его поражали другие чудеса. Прекрасны были эти немые пустынные римские поля, усеянные останками древних храмов, с невыразимым спокойствием расстилавшиеся вокруг, где пламена сплошным золотом от слившихся вместе желтых цветков, где блеща жаром раздутого угля от пунцовых листов дикого мака. Они представляли четыре чудные вида на четыре стороны. С одной — соединялись они прямо с горизонтом одной резкой ровной чертой, арки водопроводов казались стоящими на воздухе и как бы наклеенными на блистающем серебряном небе. С другой — над полями сияли горы; не вырываясь порывисто и безобразно, как в Тироле или Швейцарии, но согласными плавучими линиями выгибаясь и склоняясь, озаренные чудною ясностью воздуха, они готовы были улететь в небо; у подошвы их неслася длинная аркада водопроводов, подобно длинному фундаменту, и вершина гор казалась воздушным продолжением чудного зданья, и небо над ними было уже не серебряное, но невыразимого цвета весенней сирени. С третьей — эти поля увенчались тоже горами, которые уже ближе и выше возносились, выступая сильнее передними рядами и легкими уступами уходя вдаль. В чудную постепенность цветов облакал их тонкий голубой воздух; и сквозь это воздушно-голубое их покрывало сияли чуть приметные дома и виллы Фраскати, где тонко и легко тронутые солнцем, где уходящие в светлую мглу пылившихся вдали чуть приметных рощ. Когда же обращался он вдруг назад, тогда представлялась ему четвертая сторона вида: поля оканчивались самим Римом. Сияли резко и ясно углы и линии домов, круглость куполов, статуи Латранского Иоанна и величественный купол Петра, вырастающий выше и выше по мере отдаленья от него и властительно остающийся, наконец, один

на всем полгоризонте, когда уже совершенно скрылся весь город. Еще лучше любил он оглянуть эти поля с террасы которой-нибудь из вилл Фраскати или Альбано в часы захождения солнца. Тогда они казались необозримым морем, сиявшим и возносившимся из темных перил террасы; отлогости и линии исчезали в обнявшем их свете. Сначала они еще казались зеленоватыми, и по ним еще виднелись там и там разбросанные гробницы и арки, потом они сквозили уже светлой желтизною в радужных оттенках света, едва выказывая древние остатки, и наконец, становились пурпурней и пурпурней, поглощая в себе и самый безмерный купол и сливаясь в один густой малиновый цвет, и одна только сверкающая вдали золотая полоса моря отделяла их от пурпурного, так же как и они, горизонта. Нигде, никогда ему не случилось видеть, чтобы поле превращалось в пламя, подобно небу. Долго, полный невыразимого восхищенья, стоял он пред таким видом, и потом уже стоял так, просто, не восхищаясь, позабыв все, когда и солнце уже скрывалось, потухал быстро горизонт и еще быстрее потухали вмиг померкнувшие поля, везде устанавливал свой темный образ вечер, над развалинами огнистыми фонтанами подымались светящиеся мухи, и неуклюжее крылатое насекомое, несущееся стоймя, как человек, известное под именем дьявола, ударялось без толку ему в очи. Тогда только он чувствовал, что наступивший холод южной ночи уже прохватил его всего, и спешил в городские улицы, чтобы не схватить южной лихорадки.

Так протекала жизнь его в созерцаньях природы, искусств и древностей. Среди сей жизни почувствовал он, более нежели когда-либо, желание проникнуть поглубже историю Италии, доселе ему известную эпизодами, отрывками; без нее казалось ему неполно настоящее, и он жадно принялся за архивы, летописи и записки. Он теперь мог их читать не так, как итальянец-домосед, входящий и телом и душою в читаемые события и не видящий из-за обступивших его лиц и происшествий всей массы целого. Он теперь мог оглядывать все покойно, как из ватиканского окна. Пребыванье вне Италии, в виду шума и движенья действующих народов и государств, служило ему строгою проверкою всех выводов, сообщило многосторонность и всеобъемлющее свойство его глазу. Читая, теперь он еще более и вместе с тем беспристрастней был поражен величием и блеском минувшей эпохи Италии. Его изумляло такое быстрое разнообразное развитие человека на таком тесном углу земли, таким сильным движением всех сил. Он видел, как здесь кипел человек, как каждый город говорил своею речью, как у каждого города были целые томы истории, как разом возникли здесь все образы и виды гражданства правлений: волнующиеся республики сильных, непокорных характеров и полновластные деспоты среди их; целый город царственных

купцов, опутанный сокровенными правительственными нитями под призраком единой власти дожа; призванные чужеземцы среди туземцев; сильные напоры и отпоры в недрах незначительного городка; почти сказочный блеск герцогов и монархов крохотных земель; меценаты, покровители и гонители; целый ряд великих людей, столкнувшихся в одно и то же время; лира, циркуль, меч и палитра; храмы, воздвигающиеся среди браней и волнений; вражда, кровавая месть, великодушные черты и кучи романических происшествий частной жизни среди политического общественного вихря и чудная связь между ими: такое изумляющее раскрытие всех сторон жизни политической и частной, такое пробуждение в столь тесном объеме всех элементов человека, совершавшихся в других местах только частями и на больших пространствах! И все это исчезло и прошло вдруг, все застыло, как погаснувшая лава, и выброшено даже из памяти Европою, как старый, ненужный хлам. Нигде, даже в журналах, не выказывает бедная Италия своего развенчанного чела, лишенная значенья политического, а с ним и влиянья на мир.

«И неужели, — думал он, — не воскреснет никогда ее слава? Неужели нет средств возвратить минувший блеск ее?» И вспомнил он то время, когда еще в университете, в Лукке, бредил он о возобновлении ее минувшей славы, как это было любимой мыслью молодежи, как за стаканами добродушно и простосердечно мечтала она о том; и увидел он теперь, как близорука была молодежь и как близоруки бывают политики, упрекающие народ в беспечности и лени. Почуял он теперь, смутясь, Великий Перст, пред ним же повергается в прах немеющий человек, — Великий Перст, чертящий свыше всемирные события. Он вызвал из среды ее же гонимого ее гражданина, бедного генуэзца, который один убил свою отчизну, указав миру неведомую землю и другие широкие пути. Раздался всемирный горизонт, огромным размахом закипели движенья Европы, понеслись вокруг света корабли, двинув могучие северные силы. Осталось пусто Средиземное море; как обмелевшее речное русло, обмелела обойденная Италия. Стоит Венеция, отразив в адриатические волны свои потухнувшие дворцы, и разрывающей жалостью проникается сердце иностранца, когда поникший гондольер влечет его под пустынными стенами и разрушенными перилами безмолвных мраморных балконов. Онемела Феррара, пугая дикой мрачностью своего герцогского дворца. Глядят пустынно на всем пространстве Италии ее наклоненные башни и архитектурные чудеса, очутясь среди равнодушного к ним поколенья. Звонкое эхо раздается в шумевших когда-то улицах, и бедный ветурин подъезжает к грязной остерии, поселившейся в великолепном дворце. В нищенском вретисе очутилась Италия, и пыльными отрепьями висят на ней куски ее померкнувшей царственной одежды.

В порыве душевной жалости готов он был даже лить слезы. Но утешительная, величественная мысль приходила сама к нему в душу, и чуял он другим, высшим чутьем, что не умерла Италия, что слышится ее неотразимое вечное владычество над всем миром, что вечно веет над нею ее великий гений, уже в самом начале завязавший в груди ее судьбу Европы, внесший крест в европейские темные леса, захвативший гражданским багром на дальнем краю их дикообразного человека, закипевший здесь впервые всемирной торговлей, хитрой политикой и сложностью гражданских пружин, вознесшийся потом всем блеском ума, венчавший чело свое святым венцом поэзии и, когда уже политическое влияние Италии стало исчезать, развернувшийся над миром торжественными дивами — искусствами, подарившими человеку неведомые наслаждения и божественные чувства, которые дотоле не подымались из лона души его. Когда же и век искусства сокрылся и к нему охладели погруженные в расчеты люди, он веет и разносится над миром в завывающих воплях музыки, и на берегах Сены, Невы, Темзы, Москвы, Средиземного, Черного моря, в стенах Алжира и на отдаленных, еще недавно диких, островах гремят восторженные плески звонким певцам. Наконец, самой ветхостью и разрушением своим он грозно владычествует ныне в мире: эти величавые архитектурные чудеса остались, как призраки, чтобы попрекнуть Европу в ее китайской мелочной роскоши, в игрушечном раздроблении мысли. И самое это чудное собрание отживших миров, и прелесть соединенья их с вечно цветущей природой — все существует для того, чтобы будить мир, чтоб жителю севера, как сквозь сон, представлялся иногда этот юг, чтоб мечта о нем вырывала его из среды хладной жизни, преданной занятиям, очерствляющим душу, — вырывала бы его оттуда, блеснув ему неожиданно уносящею вдаль перспективой, колизейскою ночью при луне, прекрасно умирающей Венецией, невидимым небесным блеском и теплыми поцелуями чудесного воздуха, — чтобы хоть раз в жизни был он прекрасным человеком...

В такую торжественную минуту он примирялся с разрушением своего отечества, и зрелись тогда ему во всем зародыши вечной жизни, вечно лучшего будущего, которое вечно готовит миру его вечный Творец. В такие минуты он даже весьма часто задумывался над нынешним значением римского народа. Он видел в нем материал еще непочатый. Еще ни разу не играл он роли в блестящую эпоху Италии. Отмечали на страницах истории имена свои папы да аристократические дома, но народ оставался незаметен. Его не зацеплял ход двигавшихся внутри и вне его интересов. Его не коснулось образование и не взметнуло вихрем сокрытые в нем силы. В его природе заключалось что-то младенчески благородное. Эта гордость римским именем, вследствие которой часть города, считая себя потомками древних

квиритов, никогда не вступала в брачные союзы с другими. Эти черты характера, смешанного из добродушия и страстей, показывающие светлую его натуру: никогда римлянин не забывал ни зла, ни добра, он или добрый или злой, или расточитель или скряга, в нем добродетели и пороки в своих самородных слоях и не смешались, как у образованного человека, в неопределенные образы, у которого всяких страстишек понемногу под верховным начальством эгоизма. Эта невоздержность и порыв развернуться на все деньги, — замашка сильных народов, — все это имело для него значение. Эта светлая непритворная веселость, которой теперь нет у других народов: везде, где он ни был, ему казалось, что стараются тешить народ; здесь, напротив, он тешится сам. Он сам хочет быть участником, его насилу удержишь в карнавале; все, что ни накоплено им в продолжение года, он готов промотать в эти полторы недели; все усадит он на один наряд: оденется паяцом, женщиной, поэтом, доктором, графом, врет чепуху и лекции и слушающему и неслушающему, — и веселость эта обнимает, как вихорь, всех — от сорокалетнего до ребятишки: последний бобыль, которому не во что одеться, выворачивает себе куртку, вымазывает лицо углем и бежит туда же, в пеструю кучу. И веселость эта прямо из его природы; ею не хмель действует, — тот же самый народ освищет пьяного, если встретит его на улице. Потом черты природного художественного инстинкта и чувства: он видел, как простая женщина указывала художнику погрешность в его картине; он видел, как выражалось невольно это чувство в живописных одеждах, в церковных убранствах, как в Дженсано народ убирал цветочными коврами улицы, как разноцветные листики цветов обращались в краски и тени, на мостовой выходили узоры, кардинальские гербы, портрет папы, вензеля, птицы, звери и арабески. Как накануне Светлого Воскресенья продавцы съестных припасов, пицикаролы, убирали свои лавчонки: свиные окорока, колбасы, белые пузыри, лимоны и листья обращались в мозаику и составляли плафон; круги пармезанов и других сыров, ложась один на другой, становились в колонны; из сальных свечей составлялась бахрома мозаичного занавеса, драпировавшего внутренние стены; из сала, белого как снег, отливались целые статуи, исторические группы христианских и библейских содержаний, которые изумленный зритель принимал за алебастровые, — вся лавочка обращалась в светлый храм, сияя позлащенными звездами, искусно освещаясь развешанными шкаликами и отражая зеркалами бесконечные кучи яиц. Для всего этого нужно было присутствие вкуса, и пицикароло делал это не из каких-нибудь доходов, но для того, чтобы полюбовались другие и полюбоваться самому. Наконец, народ, в котором живет чувство собственного достоинства: здесь он il popolo, а не чернь, и носит в своей природе прямые

начала времен первоначальных квиритов; его не могли даже совратить наезды иностранцев, развратителей недействующих наций, порождающие по трактирам и дорогам презреннейший класс людей, по которым путешественник произносит часто суждение обо всем народе. Самая нелепость правительственных постановлений, эта бессвязная куча всяких законов, возникших во все времена и отношения и не уничтоженных поныне, между которыми даже есть эдикты времен древней римской республики, — все это не искоренило высокого чувства справедливости в народе. Он порицает несправедливого притязателя, освистывает гроб покойника и впрягается великодушно в колесницу, везущую тело, любезное народу. Самые поступки духовенства, часто соблазнительные, произведшие бы в других местах разврат, почти не действуют на него: он умеет отделить религию от лицемерных исполнителей и не заразился холодной мыслью неверия. Наконец, самая нужда и бедность, неизбежный удел стоячего государства, не ведут его к мрачному злодейству: он весел и переносит все, и только в романах да повестях режет по улицам. Все это показывало ему стихии народа сильного, непочатого, для которого как будто бы готовилось какое-то поприще впереди. Европейское просвещение как будто с умыслом не коснулось его и не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования. Самое духовное правительство, этот странный уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния, чтобы никто из честолюбивых соседей не посягнул на его личность, чтобы до времени таилась его гордая народность. Притом здесь, в Риме, не слышалось что-то умершее; в самых развалинах и великолепной бедности Рима не было того томительного, проникающего чувства, которым объемлется невольно человек, созерцающий памятники заживо умирающей нации. Тут противоположное чувство; тут ясное, торжественное спокойствие. И всякий раз, соображая все это, князь предавался невольно размышлениям и стал подозревать какое-то таинственное значение в слове «вечный Рим».

Итог всего этого был тот, что он старался узнавать более и более свой народ. Он его следил на улицах, в кафе, где в каждом были свои посетители: в одном антиквари, в другом стрелки и охотники, в третьем кардинальские слуги, в четвертом художники, в пятом вся римская молодежь и римское щегольство; следил в остериях, чисто римских остериях, куда не заходит иностранец, где римский *povile* садится иногда рядом с миненте и общество скидает с себя сюртуки и галстуки в жаркие дни; следил его в загородных живописно-невзрачных трактиришках с воздушными окнами без стекол, куда фамилиями и компаниями наезжали римляне обедать, или, по их выражению, *far allegria*. Он садился и обедал вместе с ними, вмешивался охотно в разговор,

дивясь весьма часто простому здравомыслию и живой оригинальности рассказа простых, неграмотных горожан. Но более всего он имел случай узнавать его во время церемоний и празднеств, когда всплывает наверх все народонаселение Рима и вдруг показывается несметное множество дотоле неподозреваемых красавиц, — красавиц, чьи образы мелькают только в барельефах да в древних антологических стихотворениях. Эти полные взоры, алебастровые плечи, смолистые волосы, в тысяче разных образов поднятые на голову или опрокинутые назад, картинно пронзенные насквозь золотой стрелой, руки, гордая походка, везде черты и намеки на серьезную классическую красоту, а не легкую прелесть грациозных женщин. Тут женщины казались подобны зданьям в Италии: они или дворцы или лачужки, или красавицы или безобразные; середины нет между ними: хорошеньких нет. Он ими наслаждался, как наслаждался в прекрасной поэме стихами, выбившимися из ряда других и насылавшими свежительную дрожь на душу.

Но скоро к таким наслаждениям присоединилось чувство, объявившее сильную борьбу всем прочим, — чувство, которое вызвало из душевного дна сильные человеческие страсти, подымающие демократический бунт против высокого единодержавия души: он увидел Аннунциату. И вот таким образом мы добрались наконец до светлого образа, который озарил начало нашей повести.

Это было во время карнавала.

— Сегодня я не пойду на Корсо, — сказал принчипе своему *maestro di casa*, выходя из дому, — мне надоедает карнавал, мне лучше нравятся летние праздники и церемонии...

— Но разве это карнавал? — сказал старик. — Это карнавал ребят. Я помню карнавал: когда по всему Корсо ни одной кареты не было и всю ночь гремела по улицам музыка; когда живописцы, архитекторы и скульпторы выдумывали целые группы, истории; когда народ, — князь понимает: весь народ, все — все золотильщики, рамщики, мозаичисты, прекрасные женщины, вся синьория, все *nobili*, все, все, все... *o quanta allegria!* Вот когда был карнавал так карнавал, а теперь что за карнавал? Э! — сказал старик и пожал плечами, потом опять сказал: — Э! — и пожал плечами; и потом уже произнес: — *E una porcheria.*

Затем *maestro di casa* в душевном порыве сделал необыкновенно сильный жест рукою, но утишился, увидев, что князя давно пред ним не было. Он был уже на улице. Не желая участвовать в карнавале, он не взял с собой ни маски, ни железной сетки на лицо и, забросившись плащом, хотел только пробраться

через Корсо на другую половину города. Но народная толпа была слишком густа. Едва только продрался он между двух человек, как уже попотчевали его сверху мукой; пестрый арлекин ударил его по плечу трещоткою, пролетев мимо с своей коломбиною; конфетти и пучки цветов полетели ему в глаза; с двух сторон стали ему жужжать в уши: с одной стороны граф, с другой медик, читавший ему длинную лекцию о том, что у него находится в желудочной кишке. Пробриться между них не было сил, потому что народная толпа возросла; цепь экипажей, уже не будучи в возможности двинуться, остановилась. Внимание толпы занял какой-то смельчак, шагавший на ходулях вравне с домами, рискуя всякую минуту быть сбитым с ног и грохнуться насмерть о мостовую. Но об этом, кажется, у него не было забот. Он тащил на плечах чучело великана, придерживая его одной рукою, неся в другой написанный на бумаге сонет с приделанным к нему бумажным хвостом, какой бывает у бумажного змея, и крича во весь голос: «Ecco il gran poeta morto. Ecco il suo sonetto colla coda!» («Вот умерший великий поэт! вот его сонет с хвостом!»)

*

Этот смельчак сгустил за собою толпу до такой степени, что князь едва мог перевести дух. Наконец вся толпа двинулась вперед за мертвым поэтом; цепь экипажей тронулась, чему он обрадовался сильно, хоть народное движение сбilo с него шляпу, которую он теперь бросился подымать. Поднявши шляпу, он поднял вместе и глаза и остолбенел: перед ним стояла неслыханная красавица. Она была в сияющем альбанском наряде, в ряду двух других, тоже прекрасных женщин, которые были пред ней, как ночь пред днем. Это было чудо в высшей степени. Все должно было померкнуть пред этим блеском. Глядя на нее, становилось ясно, почему итальянские поэты и сравнивают красавиц с солнцем. Это именно было солнце, полная красота. Все, что рассыпалось и блистает поодиночке в красавицах мира, все это собралось сюда вместе. Взглянувши на грудь и бюст ее, уже становилось очевидно, чего недостает в груди и бюстах прочих красавиц. Пред ее густыми блистающими волосами показались бы жидкими и мутными все другие волосы. Ее руки были для того, чтобы всякого обратить в художника, — как художник, глядел бы он на них вечно, не смея дохнуть. Пред ее ногами показались бы щепками ноги англичанок, немок, француженок и женщин всех других наций; одни только древние ваятели удержали высокую идею красоты их в своих статуях. Это была красота полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить! Тут не нужно было иметь какой-нибудь особенный вкус: тут все вкусы должны были сойтиться, все должны были повергнуться ниц: и верующий и неверующий упали бы пред ней, как пред внезапным появлением божества. Он видел, как весь народ, сколько его там ни было, загляделся на нее, как женщины

выразили невольное изумление на своих лицах, смешанное с наслаждением, и повторяли: «O bella!» — как все, что ни было, казалось, превратилось в художника и смотрело пристально на одну ее. Но в лице красавицы написано было только одно внимание к карнавалу: она смотрела только на толпу и на маски, не замечая обращенных на нее глаз, едва слушая стоявших позади ее мужчин в бархатных куртках, вероятно родственников, пришедших вместе с ними. Князь принимался было расспрашивать у близ стоявших около себя, кто была такая чудная красавица и откуда. Но везде получал в ответ одно только пожатие плечью, сопровождаемое жестом, и слова: «Не знаю, должно быть, иностранка»

. Недвижный, утаив дыханье, он поглощал ее глазами. Красавица наконец навела на него свои полные очи, но тут же смутилась и отвела их в другую сторону. Его пробудил крик: перед ним остановилась громадная телега. Толпа находившихся в ней масок в розовых блузах, назвав его по имени, принялась качать в него мукой, сопровождая одним длинным восклицаньем: «У, у, у!..» И в одну минуту с ног до головы был он обсыпан белой пылью, при громком смехе всех обступивших его соседей. Весь белый, как снег, даже с белыми ресницами, князь побежал наскоро домой переодеться.

Покамест он сбегал домой, пока успел переодеться, уже только полтора часа оставалось до

Ave Maria.

С Корсо возвращались пустые кареты: сидевшие в них перебрались на балконы — смотреть оттуда не перестававшую двигаться толпу, в ожидании конного бега. При повороте на Корсо встретил он телегу, полную мужчин в куртках и сияющих женщин с цветочными венками на головах, с бубнами и тимпанами в руках. Телега, казалось, весело возвращалась домой, бока ее были убраны гирляндами, спицы и ободья колес увиты зелеными ветвями. Сердце его захолонуло, когда он увидел, что среди женщин сидела в ней поразившая его красавица. Сверкающим смехом озарялось ее лицо. Телега быстро промчалась при кликах и песнях. Первым делом его было бежать вслед ее, но дорогу перегородил ему огромный поезд музыкантов: на шести колесах везли страшилищной величины скрипку. Один человек сидел верхом на подставке, другой, идя сбоку ее, водил громадным смычком по четырем канатам, натянутым на нее вместо струн. Скрипка, вероятно, стоила больших трудов, издержек и времени. Впереди шел исполинский барабан. Толпа народа и мальчишек тесно валила вслед за музыкальным поездом, и шествие замыкал известный в Риме своею толщиной пицикароло, неся клистирную трубку вышиною в колокольню. Когда улица очистилась от поезда, князь

увидел, что бежать за телегой глупо и поздно, и притом неизвестно, по каким дорогам понеслась она. Он не мог, однако же, отказаться от мысли искать ее. В воображение его порхал этот сияющий смех и открытые уста с чудными рядами зубов. «Это блеск молнии, а не женщина, — повторял он в себе и в то же время с гордостью прибавлял: — Она римлянка. Такая женщина могла только родиться в Риме. Я должен непременно ее увидеть. Я хочу ее видеть не с тем, чтобы любить ее, нет, — я хотел бы только смотреть на нее, смотреть на всю ее, смотреть на ее очи, смотреть на ее руки, на ее пальцы, на блистающие волосы. Не целовать ее, хотел бы только глядеть на нее. И что же? Ведь это так должно быть, это в законе природы; она не имеет права скрыть и унести красоту свою. Полная красота дана для того в мир, чтобы всякий ее увидал, чтобы идею о ней сохранял навечно в своем сердце. Если бы она была просто прекрасна, а не такое верховное совершенство, она бы имела право принадлежать одному, ее бы мог он унести в пустыню, скрыть от мира. Но красота полная должна быть видима всем. Разве великолепный храм строит архитектор в тесном переулке? Нет, он ставит его на открытой площади, чтобы человек со всех сторон мог оглянуть его и подивиться ему. Разве для того зажжен светильник, сказал Божественный Учитель, чтобы скрывать его и ставить под стол? Нет, светильник зажжен для того, чтобы стоять на столе, чтобы всем было видно, чтобы все двигались при его свете. Нет, я должен ее видеть непременно». Так рассуждал князь и потом долго передумывал и перебирал все средства, как достигнуть этого, — наконец, как казалось, остановился на одном и отправился тут же, нимало не медля, в одну из тех отдаленных улиц, которых много в Риме, где нет даже кардинальского дворца с выставленными расписными гербами на деревянных овальных щитах, где виден номер над каждым окном и дверью тесного домишка, где идет горбом выпученная мостовая, куда из иностранцев заглядывает только разве пройдоха немецкий художник с походным стулом и красками да козел, отставший от проходящего стада и остановившийся посмотреть с изумленьем, что за улица, им никогда не виданная. Тут раздается звонко лепет римлянок: со всех сторон, изо всех окон несутся речи и переговоры. Тут все откровенно, и проходящий может совершенно знать все домашние тайны; даже мать с дочерью разговаривают не иначе между собою, как высунув обе свои головы на улицу; тут мужчин не заметно вовсе. Едва только блеснет утро, уже открывает окно и высовывается съора Сусанна, потом из другого окна высказывается съора Грация, надевая юбку. Потом открывает окно съора Нанна. Потом вылезает съора Лучия, расчесывая гребнем косу; наконец, съора Чечилия высовывает руку из окна, чтобы достать белье на протянутой веревке, которое тут же и наказывается за то, что долго не дало достать себя, наказывается скомканьем, киданьем на пол и словами: «Che bestia!» Тут все

живо, все кипит: летит из окна башмак с ноги в шалуна сына или в козла, который подошел к корзинке, где поставлен годовой ребенок, принялся его нюхать и, наклоня голову, готовился ему объяснить, что такое значат рога. Тут ничего не было неизвестно: все известно. Синьоры все знали, что ни есть: какой съора Джюдита купила платок, у кого будет рыба за обедом, кто любовник у Барбаруччи, какой капуцин лучше исповедует. Изредка только вставляет свое слово муж, стоящий обыкновенно на улице, облокотясь у стены, с коротенькою трубкою в зубах, почитавший необходимостью, услыша о капуцине, прибавить короткую фразу: «Все мошенники», — после чего продолжал снова пускать под нос себе дым. Сюда не заезжала никакая карета, кроме разве только одной двухколесной трясушки, запряженной мулом, привезшим хлебнику муку, и сонного осла, едва дотащившего перекидную корзину с брокколими, несмотря на все понуканья мальчишек, угобжающих камнями его нещекотливые бока. Тут нет никаких магазинов, кроме лавчонки, где продавался хлеб и веревки, с стеклянными бутылками, да темного узенького кафе, находившегося в самом углу улицы, откуда виден был беспрестанно выходивший боттега, разносивший синьорам кофий или шоколад на козьем молоке в жестяных маленьких кофейничках, известный под именем Авроры. Дома тут принадлежали двум, трем, а иногда и четверем владельцам, из которых один имеет только пожизненное право, другой владеет одним этажом и имеет право пользоваться с него доходом только два года, после чего, вследствие завещания, этаж должен был перейти от него к padre Vincenzo на десять лет, у которого, однако же, хочет оттягать его какой-то родственник прежней фамилии, живущий во Фраскати и уже заблаговременно затеявший процесс. Были и такие владельцы, которые владели одним окном в одном доме, да другими двумя в другом доме, да пополам с братом пользовались доходами с окна, за которое, впрочем, вовсе не платил неисправный жилец, — словом, предмет неистощимый тяжб и продовольствия адвокатов и куриалов, наполняющих Рим. Дамы, о которых только что было упомянуто, — все, как первоклассные, честимые полными именами, так и второстепенные, называвшиеся уменьшительными именами, все Тетты, Тутты, Наины, — большею частию ничем не занимались; они были супруги: адвоката, мелкого чиновника, мелкого торгаша, носильщика, факина, а чаще всего незанятого гражданина, умевшего только красиво драпироваться не весьма надежным плащом.

Многие из синьор служили моделями для живописцев. Тут были всех родов модели. Когда бывали деньги — они проводили весело время в остерии с мужьями и целой компанией; не было денег — не были скучны и глядели в окно. Теперь улица была тише обыкновенного, потому что некоторые

отправились в народную толпу на Корсо. Князь подошел к ветхой двери одного домишка, которая вся была выверчена дырами, так что сам хозяин долго тыкал в них ключом, покамест попадал в настоящую. Уже готов он был взяться за кольцо, как вдруг услышал слова:

— Сьор принчипе хочет видеть Пеппе?

Он поднял голову вверх: из третьего этажа глядела, высунувшись, сьора Тутта.

— Экая крикунья, — сказала из супротивного окна сьора Сусанна. — Принчипе, может быть, совсем пришел не с тем, чтобы видеть Пеппе.

— Конечно, с тем, чтобы видеть Пеппе, не правда ли, князь? С тем, чтобы видеть Пеппе, не так ли, князь? Чтобы увидеть Пеппе?

— Какой Пеппе, какой Пеппе! — продолжала с жестом обеими руками сьора Сусанна. — Князь стал бы думать теперь о Пеппе! Теперь время карнавала, князь поедет вместе с своей куджиной, маркезой Монтелли, поедет с друзьями в карете бросать цветы, поедет за город *far allegria*. Какой Пеппе! Какой Пеппе!

Князь изумился таким подробностям о своем препровождении времени; но изумляться ему было нечего, потому что сьора Сусанна знала все.

— Нет, мои любезные синьоры, — сказал князь, — мне, точно, нужно видеть Пеппе.

На это дала ответ князю уже синьора Грация, которая давно высунулась из окошка второго этажа и слушала. Ответ дала она, слегка пощелкав языком и покрутив пальцем, — обыкновенный отрицательный знак у римлянок, — и потом прибавила:

— Нет дома.

— Но, может быть, вы знаете, где он, куда ушел?

— Э! куда ушел! — повторила сьора Грация, приклонив голову к плечу. — Статься может, в остерии, на площади, у фонтана; верно, кто-нибудь позвал его, куда-нибудь ушел, *chi lo sa* (кто его знает)!

— Если хочет принчипе что-нибудь сказать ему, — подхватила из супротивного окна Барбаручья, надевая в то же время серьгу в свое ухо, — пусть скажет мне, я ему передам.

«Ну, нет», — подумал князь и поблагодарил за такую готовность.

В это время выглянул из перекрестного переулкa огромный запачканный нос и, как большой топор, повиснул над показавшимися вслед за ними губами и всем лицом. Это был сам Пеппе.

— Вот Пеппе! — воскликнула сьора Сусанна.

— Вот идет Пеппе, *siog principe*! — вскрикнула живо из своего окна синьора Грация.

— Идет, идет Пеппе! — зазвенела из самого угла улицы сьора Чечилия.

— Принчипе, принчипе! вон Пеппе, вон Пеппе (*ессо Рерре, эссо Рерре*)! — кричали на улице ребяташки.

— Вижу, вижу, — сказал князь, оглушенный таким живым криком.

— Вот я, *esselenza*, вот! — сказал Пеппе, снимая шапку.

Он, как видно, уже успел попробовать карнавала. Его откуда-то сбокухватило сильно мукою. Весь бок и спина были у него выбелены совершенно, шляпа изломана, и все лицо было убито белыми гвоздями. Пеппе уже был замечателен потому, что всю жизнь свою остался с уменьшительным именем своим Пеппе. До Джузеппе он никак не добрался, хотя и поседел. Он происходил даже из хорошей фамилии, из богатого дома негоцианта, но последний домишко был у него оттяган тяжбой. Еще отец его, человек тоже вроде самого Пеппе, хотя и назывался *siog Джиованни*, проел последнее имущество, и он мыкал теперь свою жизнь, подобно многим, — то есть как приходилось: то вдруг определялся слугой у какого-нибудь иностранца, то был на посылках у адвоката, то являлся убирателем студии какого-нибудь художника, то сторожем виноградника или виллы; и по мере того изменялся на нем беспрестанно костюм. Иногда Пеппе попадался на улице в круглой шляпе и широком сюртуке, иногда в узеньком кафтане, лопнувшем в двух или трех местах, с такими узенькими рукавами, что длинные руки его выглядывали оттуда, как метлы; иногда на ноге его являлся поповский чулок и башмак, иногда он показывался в таком костюме, что уж и разобрать было трудно, тем более, что все это было надето вовсе не так, как следует: иной раз просто можно было подумать, что он надел на ноги вместо панталон куртку, собравши и завязавши ее кое-как сзади. Он был самый радушный исполнитель всех возможных поручений, часто вовсе безынтересно: тащил продавать всякую ветошь, которую поручали дамы его улицы, пергаментные книги разорившегося аббата или антиквария, картину художника; заходил по утрам к аббатам забирать их панталоны и башмаки для почистки к себе на дом, которые потом позабывал в урочное время отнести назад от излишнего

желанья услужить кому-нибудь попавшемуся третьему, и аббаты оставались арестованными, без башмаков и панталон, на весь день. Часто ему перепали порядочные деньги, но деньгами он распоряжался по-римски: то есть на завтра никогда почти их не ставало; не потому, чтобы он тратил на себя или проедал, но потому, что все у него шло на лотерею, до которой был он страшный охотник. Вряд ли существовал такой номер, которого бы он не попробовал. Всякое незначущее ежедневное происшествие у него имело важное значение. Случилось ли ему найти на улице какую-нибудь дрянь, он тот же час справлялся в гадательной книге, за каким номером она там стоит, с тем чтобы его тотчас же взять в лотерею. Приснился ему однажды сон, что сатана, который и без того ему снился неизвестно по какой причине в начале каждой весны, — что сатана потащил его за нос по всем крышам всех домов, начиная от церкви Св. Игнатия, потом по всему Корсо, потом по переулку *tre Ladroni*, потом по *via della stamperia* и остановился наконец у самой *Trinita* на лестнице, приговаривая: «Вот тебе, Пеппе, за то, что ты молился святому Панкратию: твой билет не выиграет». Сон этот произвел большие толки между съорой Чечилией, съорой Сусанной и всей почти улицей; но Пеппе разрешил его по-своему: сбегал тот же час за гадательной книгой, узнал, что черт значит 13 номер, нос 24, святой Панкратий 30, и взял того же утра все три номера. Потом сложил все три номера, вышел: 67, он взял и 67. Все четыре номера, по обыкновению, лопнули. В другой раз случилось ему завести перепалку с виноградарем, толстым римлянином, съором Рафаэлем Томачели. За что они поссорились — Бог их ведает, но кричали они громко, производя сильные жесты руками, и, наконец, оба побледнели — признак ужасный, при котором обыкновенно со страхом высовываются из окон все женщины и проходящий пешеход отторанивается подальше, — признак, что дело доходит наконец до ножей. И точно, толстый Томачели запустил уже руку за ременное голенище, обтягивавшее его толстую икру, чтобы вытащить оттуда нож, и сказал: «Погоди ты, вот я тебя, телячья голова!» — как вдруг Пеппе ударил себя рукою по лбу и убежал с места битвы. Он вспомнил, что на телячью голову он еще ни разу не взял билета; отыскал номер телячьей головы и побежал бегом в лотерейную контору, так что все, приготовившиеся смотреть кровавую сцену, изумились такому нежданному поступку, и сам Рафаэль Томачели, засунувши обратно нож в голенище, долго не знал, что ему делать, и наконец сказал: «*Che uomo curioso!*» (Какой странный человек!) Что билеты лопались и пропадали, этим не смущался Пеппе. Он был твердо уверен, что будет богачом, и потому, проходя мимо лавок, спрашивал почти всегда, что стоит всякая вещь. Один раз, узнавши, что продается большой дом, он зашел нарочно поговорить об этом с продавцом, и когда стали над ним смеяться знавшие его, он отвечал очень простодушно: «Но к чему смеяться, к чему

смеяться? Я ведь не теперь хотел купить, а после, со временем, когда будут деньги. Тут ничего нет такого... всякий должен приобретать состояние, чтобы оставить потом детям, на церковь, бедным, на другие разные вещи... *chi lo sa!*» Он уже давно был известен князю, был даже когда-то взят отцом его в дом в качестве официанта и тогда же прогнан — за то, что в месяц износил свою ливрею и выбросил за окно весь туалет старого князя, нечаянно толкнув его локтем.

— Послушай, Пеппе! — сказал князь.

— Что хочет приказать *esselenza*? — говорил Пеппе, стоя с открытой головою. — Князю стоит только сказать: «Пеппе!» — а я: «Вот я». Потом князь пусть только скажет: «Слушай, Пеппе», — а я: «*Ессо ме, esselenza!*»

— Ты должен, Пеппе, сделать мне теперь вот какую услугу... — При сих словах князь взглянул вокруг себя и увидел, что все съоры Грации, съоры Сусанны, Барбаруччи, Тетты, Тутты — все, сколько их ни было, — выставились любопытно из окна, а бедная съора Чечилия чуть не вывалилась вовсе на улицу.

«Ну, дело плохо!» — подумал князь.

— Пойдем, Пеппе, ступай за мною.

Сказавши это, он пошел вперед, а за ним Пеппе, потупив голову и разговаривая сам с собою: «Э! женщины потому и любопытны, потому что женщины, потому что любопытны».

Долго шли они из улицы в улицу, погружаясь каждый в свои соображения. Пеппе думал вот о чем: «Князь даст, верно, какое-нибудь поручение, может быть важное, потому что не хочет сказать при всех; стало быть, даст хороший подарок или деньги. Если же князь даст денег, что с ними делать? Отдавать ли их съору Сервилию, содержателю кафе, которому он давно должен? потому что съор Сервилио на первой же неделе Поста непременно потребует с него денег, потому что съор Сервилио усадил все деньги на чудовищную скрипку, которую собственноручно делал три месяца для карнавала, чтоб проехаться с нею по всем улицам, — теперь, вероятно, съор Сервилио долго будет есть вместо жаренного на вертеле козленка одни брокколи, варенные в воде, пока не наберет вновь денег за кофий. Или же не платить съору Сервилио да вместо того позвать его обедать в остерию? потому что съор Сервилио *il vero Romano* и за предложенную ему честь будет готов потерпеть долг, — а лотерея непременно начнется со второй недели Поста. Только каким образом до того времени уберечь деньги, как сохранить их так, чтобы не узнал ни Дзякомо, ни

мастер Петруччо, точильщик, которые непременно попросят у него займы, потому что Джякомо заложил в Гету жидам все свое платье, а мастер Петруччо тоже заложил свое платье в Гету жидам и разорвал на себе юбку и последний платок жены, нарядясь женщиною... как сделать так, чтобы не дать им займы?» Вот о чем думал Пеппе.

Князь думал вот о чем: «Пеппе может разыскать и узнать имя, где живет, и откуда, и кто такая красавица. Во-первых, он всех знает и потому больше, нежели всякий другой, может встретить в толпе приятелей, может чрез них разведать, может заглянуть во все кафе и остерии, может заговорить даже, не возбудив ни в ком подозрения своей фигурой. И хотя он подчас болтун и рассеянная голова, но если обязать его словом настоящего римлянина, он сохранит все в тайне».

Так думал князь, идя из улицы в улицу, и наконец остановился, увидевши, что уже давно перешел мост, давно уже был в Транстеверской стороне Рима, давно взбирается на гору и недалеко от него церковь S. Pietro in Montorio. Чтобы не стоять на дороге, он взошел на площадку, с которой открывался весь Рим, и произнес, оборотившись к Пеппе:

— Слушай, Пеппе, я от тебя потребую одной услуги.

— Что хочет есселенза? — сказал опять Пеппе.

Но здесь князь взглянул на Рим и остановился: пред ним в чудной сияющей панораме предстал вечный город. Вся светлая груда домов, церквей, куполов, остроконечий сильно освещена была блеском понизившегося солнца.

Группами и поодиночке один из-за другого выходили дома, крыши, статуи, воздушные террасы и галереи; там пестрела и разыгрывалась масса тонкими верхушками колоколен и куполов с узорною капризностью фонарей; там выходил целиком темный дворец; там плоский купол Пантеона; там убранная верхушка Антониновской колонны с капителью и статуей апостола Павла; еще правее возносили верхи капитолийские здания с конями, статуями; еще правее, над блестящей толпой домов и крыш, величественно и строго подымалась темная ширина колизейской громады; там опять играющая толпа стен, террас и куполов, покрытая ослепительным блеском солнца. И над всей сверкающей сей массой темнели вдали своей черною зеленью верхушки каменных дубов из вилл Людовизи, Медичис, и целым стадом стояли над ними в воздухе куполообразные верхушки римских пинн, поднятые тонкими стволами. И потом во всю длину всей картины возносились и голубели прозрачные горы, легкие, как воздух, объятые каким-то фосфорическим светом. Ни словом, ни кистью нельзя было передать чудного согласия и

сочетанья всех планов этой картины. Воздух был до того чист и прозрачен, что малейшая черточка отдаленных зданий была ясна, и все казалось так близко, как будто можно было схватить рукою. Последний мелкий архитектурный орнамент, узорное убранство карниза — все вызначалось в непостижимой чистоте. В это время раздались пушечный выстрел и отдаленный слившийся крик народной толпы — знак, что уже пробежали кони без седоков, завершающие день карнавала. Солнце опускалось ниже к земле; румянее и жарче стал блеск его на всей архитектурной массе; еще живей и ближе сделался город; еще темней зачернели пинны; еще голубее и фосфорнее стали горы; еще торжественней и лучше готовый погаснуть небесный воздух... Боже, какой вид! Князь, объятый им, позабыл и себя, и красоту Аннунциаты, и таинственную судьбу своего народа, и все, что ни есть на свете.

В итальянской поэзии существует род стихотворенья, известного под именем сонета с хвостом (*con la coda*), — когда мысль не вместилась и ведет за собою прибавление, которое часто бывает длиннее самого сонета.

Римляне всех, кто не живет в Риме, называют иностранцами (*forestieri*), хотя бы они обитали только в десяти милях от города.